

Ольбик Александр Дикие пчелы на солнечном берегу

Об авторе



Александр Ольбик является членом Союза писателей и журналистов Латвии. Работал в газетах «Советская молодежь», еженедельниках «Юрмала» и «Совершенно откровенно». Заслуженный журналист ЛССР. Пишет прозу, в основном в детективном жанре. Последний роман А.Ольбика («Ящик Пандоры») был опубликован в Москве в 2014 г. Позже он выпустил в свет еще два небольших сборника («Крымская соната» и «Пока меч в ножнах»). Что касается «Крымской сонаты», то это драматическая повесть о любви и

гибели любимого человека и не имеет ни малейшего политического подтекста...

В 2005 году Европейской Унией искусств А.Ольбику была присуждена золотая медаль Франца Кафки. Однако, как считает А.Ольбик, самой весомой для него наградой является литературная Международная Премия им. Юрия Долгорукого, врученная ему 30 мая 2009 года (за написание книги «Дикие пчелы на солнечном берегу»). Эту книгу автор посвятил всем детям, погибшим в больших и малых войнах.

Ни на солнце, ни на смерть

Нельзя смотреть в упор.

Ф. де Ларошфуко

**Посвящается детям — жертвам больших и
малых войн**

Вместо предисловия

Повесть Александра Ольбика имеет *двойной* конфликт. *Первый* — между главными персонажами: ленинградским энкэвэдэшником Кардановым, вместе с семьей заброшенным войной на далекий хутор, находящийся под немецкой оккупацией, и раскулаченным крестьянином

Александром Федоровичем Петуховым.
Прозванным Кереном.

— Если камень бросить вверх, он вернется на землю? — вопрошает Керен.

— Обязательно вернется.

— Вот так и мужик вернется к земле.

В этом конфликте нет правых и виноватых. Энкэвэдэшник искренне заблуждается вместе со страной. А Керен — носитель здравого, «почвенного» смысла.

Сегодня, через семьдесят лет после революции, мы видим, как отсутствие здравого смысла завело страну в тупик. Из сегодняшнего дня мы можем прямо сказать: Керен прав. А Карданов одурачен. Но тогда они оба были правы... каждый по своему. И оба погибли за эту страну. При том, что у них был выбор. Они могли остаться живыми, если бы отвели карателей к партизанам. Но и крестьянин и чекист выбрали жестокую смерть за Родину, какая бы она там ни была — правая или виноватая.

Второй конфликт — ВОЙНА. Россия и фашизм. Россия представлена горсткой людей: партизаны, женщина — мама Оля, дети и среди них главный герой четырехлетний Ромка по прозвищу Волчонок. У мальчика — врожденный дефект — заячья губа и волчья пасть. Он почти не разговаривает, мычит. Но он все понимает. В нем

идет напряженная работа детской души, воображения. Мир насилия и красоты природы — все это проходит через детское восприятие.

На хутор заявляются каратели и по очереди убивают взрослых и детей. Волчонок случайно остался один, спрятался в подушках. Он выбегает во двор и видит там повешенных под козырьком крыши маму Олю, деда...» *И по мере того, как взгляд вбирал и оценивал увиденное, по мере осознания свершившегося, в недрах его души, самых потаенных и неразгаданных, начал вызревать катастрофический распад... Он явственно увидел себя среди них, и вместе с тем разделенного с ними неохватной вселенной... Когда иссякли силы, сдерживающие рассудок, Волчонок пустился бежать...»*

Страшная реальность...вернее, ирреальность потрясла детскую душу. В несколько мгновений Волчонок поседел и, не найдя выхода, покончил собой. Подорвал себя на гранате, оставленной на хуторе партизанами. *«Не давая себе ни секунды на прощание с жизнью, всем своим измотанным бегом и страданиями тельцем повис на несущем избавление рубчатом металле».*

Вот что такое фашизм. Что еще можно к этому добавить? Сегодня выросло поколение, которое ничего не знает о войне — даже два поколения. Но они должны знать. И такая книга должна быть прочитана.

Замысел книги ясен. Додуман до конца, а потому прост, как все додуманное. Но даже самый лучший замысел не дойдет до читателя, если нет языка. А язык этой повести — замечательный. Написано просто, подробно, с деталями настолько достоверными, что кажется будто автор не придумал, а увидел и спокойно записал то, что увидел и пережил сам. Ужасы записаны корректно, как бы отстраненно, без нажима и от этого они еще более ужасны.

Детская жизнь, игра, красота разогретой солнцем земли, образ врага с неестественно «прилепленным» к лицу носом и медвежьей поступью, беззаветная любовь мамы Оли, которая посылает своему сыночку последний взгляд, исполненный любви, девочка Сталина, уходящая в партизаны, мертвые глаза бабы Люси... Воистину, на смерть и на солнце нельзя смотреть в упор...

Вся сложная мозаика этой повести составляет честную и щемяще-нежную картину о людях в условиях войны.

После книг Василя Быкова — это самая интересная повесть, которую мне удалось прочитать на эту тему. Тему о войне, окончившейся в 1945 году.»

***Виктория Токарева,
писатель.***

Глава первая

Хутор Горюшино был, одинокий на пять верст кругом. Он затаился на взгорье, зажатый — с одной стороны лесом, с другой — большаком. Оба конца дороги змеиными языками уходили в неизвестные пределы, о существовании которых четырехлетний Ромка лишь смутно догадывался.

Он стоял на краю завора и, не мигая, смотрел вдаль. Взгляд то устремлялся в синие небеса, где преспокойно парили два коршуна, то спускался в залитую золотистым светом лощину, цеплялся за струящийся ручеек стрекоз. Хорошо было Ромке, но вместе с тем и страшно: только что по большаку пролязгал смердящий выхлопными газами поток из танков, грузовиков, повозок с высокими зелеными бортами. И никто из людей, находящихся в этом потоке, даже не удостоил мальчугана взглядом. Да и чему было удивиться — он представлялся проезжему люду привычной запятой в неряшливой скорописи войны.

Техника вместе с людьми уже были за поворотом, а в воздухе все еще витали паутинки выхлопных дымок. Они долго блуждали над большаком, пока их не подхватили теплые струи воздуха и не увлекли за собой в ляды.

К Ромке подбежала Тамарка — чернявая девчонка — и, взяв его за помочу, потянула за

собой. Грязными в ципках ногами он стал упираться в комья засохшей глины.

У Ромки большие синие глаза, мокрый нос, а под ним — излом заячьей губы. Он не умеет говорить, и вся его речь походит на мычание. У него волчья пасть, и, наверное, поэтому к нему приклеилось второе имя — Волчонок.

Тамарка намного старше своего племянника и потому легко оттащила его от края зазора. Ромка от досады тюкнул ее кулаком в зад и как-то кашляюще заплакал. Но когда они зашли в сени, где было сумрачно и пахло прошлогодними вениками, старым лыком, где стоял дух уже вычерпанных до дна бочек, когда-то хранивших в себе огурцы, капусту, солонину, Ромка плакать перестал. Вырвавшись из Тамаркиной руки, сам пошел в хату.

У печки хлопотала мама Оля, как звали ее все на хуторе, — тридцатилетняя смуглолицая женщина. Увидев сына, она поставила в угол ухват и, подцепив оттуда же веник, замахнулась им на Ромку. Он беспомощно прикрылся рукой, и веник на полдороге повернул назад и шлепнулся на свое место, рядом со сковородником и ухватом.

— Иди снестать, — прикрикнула на него мама Оля и подтолкнула к столу.

Ромка на четвереньках пробрался между ног сидящих за столом и по лаптям нашел деда. Правда,

есть ему ничуть не хотелось: с самого утра они с Тамаркой обдоили куст еще зеленой смородины, а затем натрескались конского щавеля. Болел живот, но он не жаловался — боялся матери.

Ромка смиренно сидел у теплого бока деда и с интересом разглядывал беженцев: Верку, девочку с щербинкой в зубах и всегда смеющимися глазами, ее брата Вадима, живчика, нещадно терзающего задницей лавку, их старшую сестру Сталину, красивую, с печальным лицом девушку.

Городские сидели в ряд и нетерпеливо поглядывали на дымящуюся в центре стола картошку. Но команды навалиться на еду все не поступало, отчего у Вадима началось такое обильное слюноотделение, что он, не выдержав жданок, решил отвоевать свою порцию военной хитростью. Сделав брови домиком, он дико уставился за окно, будто узрел там великое чудо.

— Во птичка какая — гляньте! — воскликнул Вадим и, когда все тоже воззрились в окно, быстро схватил картофелину и засунул ее под рубаху.

На что дед Александр Федорович тертый калач, а и тот попался на птаху. Он, как ребенок, во все глаза таращился за окно, стараясь ухватить глазом небывалое оперение. И только один Ромка, видно, не расслышавший городского, а потому и не среагировавший на его выходку, стал свидетелем обмана и восстал против него. Он затормошил деда

за рубаху и что-то залопотал. Его рука взлетела над столом и спикировала в сторону Вадима. А у того уже живот поджаривался. Вот-вот слезы из глаз брызнут, а рот все равно до ушей. Он сорвался с лавки и бросился на выход. В дверях, однако, столкнулся с отцом, Лукой Кардановым, и младшим сыном деда — одноруким Гришкой.

Гришка уселся рядом с Ромкой, и его пустой рукав пугающе лег ему на колени. И перед Ромкой встало недавнее событие: дядя Гриша, когда в хате раздался взрыв, словно ошпаренный побежал к мочилу, куда и опустил обрубок руки. Вслед за ним кинулись все, кто был в доме, в том числе и Ромка, до смерти напуганный случившимся. Больше всего запомнилось, как темная вода с плавающими по ней зелеными лепешечками тины на глазах стала окрашиваться в малиновый цвет...

Дед, перетянув Гришке руку ремнем, отправил его с мамой Олей в Дубраву. После перевязки их препроводили в комендатуру, где и допросили — не партизан ли Гришка и, если нет, то откуда в доме взялся взрыватель? «Нашел на дороге, — врал наученный дедом подросток, — шел по большаку, гляжу — что-то блестит. Поднял, принес домой и стал шилом ковырять отверстие, чтобы устроить мундштук». Но Гриха-то отлично знал, что капсуль потеряли ночевавшие на хуторе партизаны-взрывники. Долго болела рука...

Ромка посмотрел на лицо Гришки, иссеченное мелкими осколками. Больше всего досталось правому глазу, и Ромка запомнил, как мама Оля через куриное перо вдувала в него белый порошок...

Наконец, перекрестившись, дед Александр протянул руку к картошке, а за ним потянулись и другие руки. Верка с Тamarкой наперегонки стали облупливать картофелины. Вадим без охоты жевал сухой, пополам с мякиной, хлеб и исподлобья поглядывал на отца.

Карданов поднял кружку с самогоном, оглядел всех и сказал речь:

— Ладно, как бы там ни было, а мы покамест живы и, слава тебе, господи, здоровы. Поживем, а там, глядишь, и наши подойдут. Вот за это и выпьем.

Гришка, по-видимому, тоже относил себя к взрослым, ибо и у него в руках оказалась кружка с питвом. То, что осталось на дне, он отдал Тamarке. Девочка вылила подонки в деревянную ложку и, зажмурившись, сцедила их себе в рот. Через мгновение глаза полезли на лоб, и ее точно нечистая сила стащила с лавки.

Александр Федорович после выпитого долго шмыгал носом и крякал.

Баба Люся лежала на печи — у нее разболелась поясница, а мама Оля по-прежнему

возилась с горшками, готовила для козы Насти пойло.

Очумелая от самогона, Тамарка полезла к сестре целоваться. А у мамы Оли было другое настроение: она легонько оттолкнула ее, и Тамарка, не удержавшись на ногах, полетела в лохань.

— Ольга, стрекни ее! — взъярился дед. — Сопля чернявая, первача захотела.

Тамарка вовсю веселилась и отбивалась от помогавших ей выбраться из лохани Верки и Сталины. Вадим давился от смеха, а наверху, на печке, с пристомом кудахтали баба Люся. И хоть смех больно отдавался в поясице, но и сдержаться, видимо, у нее не было никаких сил.

Дед Александр снял со штыря недоплетенную веревку и, ни слова не говоря, врезал Гришке по спине: «Ишо хоть раз поделишься с ей самогонкой, убью!»

Ромке ненароком тоже досталось — конец бечевки хлестко жиганул его по руке.

Расправив могучую грудь, Лука степенно разделывался с едой, сожалел лишь о том, что нет на столе ни крупицы соли.

Когда снаданье закончилось, мама Оля взялась за уборку огромного, отполированного локтями стола. Ее движения были сноровисты и быстры и завораживали Карданова.

Беженец продолжал сидеть за столом и из

тонко настроенных лучинок составлял задачки. Верка с Тamarкой, приткнувшись локтями к столешнице, пытались разрешить головоломную геометрию.

В люльке время от времени шевелился маленький Борька, отчего сплетенная из тонкого ивняка зыбка подрагивала и раскачивалась из стороны в сторону.

В избе стояло ровное гудение мух.

Возле баньки Вадим с Гришкой уже вылущивали найденную в кювете немецкую пулеметную ленту. Патроны, схваченные окисью, они протирали ветошью и складывали в плоский, тоже трофейный, ящик с рамочными замками.

А в хате дед Александр приступил к послеобеденной молитве. Рядом с ним, переглядываясь и прыская от смеха, стояли на коленях Тamarка с Веркой. Они явно портили деду нервы, и он, чтобы обрести откровение в молитве, изгнал их из комнаты. И только Ромка, поставленный дедом впереди, непонимающе воззрился на иконы и короткими, беспорядочными замашками осенял себя крестным знамением. Он любил деда и не смел его послушаться, хотя было нестерпимо больно стоять голыми коленками на щербатом полу. В какой-то момент он схитрил — осел, упершись ягодицами на торчащие сзади пятки, однако Александр Федорович тут же уличил

внука:

— Ты так свои грехи, Ромашка, никогда не замолишь. Встань прямо!

Мальчуган повиновался. Помоча от штанишек съехала с плеча, и Карданову, наблюдавшему за Ромкой, хотелось подойти к нему и поправить лямку. Но он не сдвинулся с места и лишь перенес взгляд с молящихся за окно — туда, где копошились у бани Гришка с Вадимом.

Закончив дела у печки, мама Оля принялась за Борьку: вытащила его из люльки и голенького положила на кровать, поверх лоскутного одеяла. Малыш не плакал, хотя было отчего зареветь — все его тельце было опкидано клопиными укусами, а уши и щеки изрыты золотушными кратерками.

Мама Оля влажной тряпицей стала протирать Борьку, что ему очень нравилось: ребенок радостно подергивал руками и ногами, тихонько гукал.

С печи, кряхтя, с «господи, помилуй», стала слезать баба Люся. Она целыми днями ткет полотно в задней комнате, которое затем после вымочки расстелят возле хаты, чтобы его высушило и выбелило солнце. Зимой вместе с Ольгой они собираются из негошить горюшинцам одежды.

Когда Александр Федорович поговорил по душам с богом — впрочем, без особого откровения, ибо его все время отвлекали и одолевали житейские думы — обратился к Карданову:

— Ну, с божьей помощью, я готов. Бери, Алексеич, топоры и пилу... Где Гришка? Пусть прихватит в сенях рубанок и долотья.

— Все уже собрано, — Лука во весь свой могучий рост поднялся из-за стола.

Он подошел к Ольге с Борисом и указательным пальцем пощекотал тому пупок. Младенец как будто улыбнулся, но, увидев над собой волосатое существо, сморщился и хрипло заплакал.

— Когда вернетесь? — спросила Ольга и взглянула на ходики, обремененные гирей и гильзой от противотанкового ружья.

— Спроси об этом у батьки. Пока наваляем бревен, пока окорим да сложим... — И, оглянувшись на деда Александра, который в это время заворачивал в тряпку несколько картофелин и хлеб, Карданов неуклюже подался к Ольге и клюнул ее губами в висок.

Ромка, крутившийся на лавке у окна, внимательно наблюдал за взрослыми и старался не упустить их из виду: ведь он обязательно должен пойти с ними в лес...

У баньки дед взъелся на Гришку с Вадимом, все ещё продолжавших возиться с патронами. Те огрызались и сулили притащить спрятанный в лощине пулемет и с «забора врезать» по проезжающим по большаку фашистам.

— Ишо щаня, чтоб воевать, — пригрозил им дед. Он поставил на землю мешок с железными скобами и подошел к подросткам. Ни слова не говоря, подхватил с земли ящик с патронами и направился с ним к мочилу. Ноша была тяжелая, и потому он сначала поставил ящик на бережок, поросший густой осокой, а затем ногой спихнул его в воду.

— Давай, Гришка, сюды и ленту, — приказал он сыну.

— Зачем тебе лента, пап?

Карданов с мешком за плечами невозмутимо наблюдал за действиями Александра Федоровича, в душе, однако, сожалея о патронах.

Дед бурчал:

— Придут немцы с ищейками, найдут боезапас и спросят — откуда это добро? Что мы им ответим? К пуньке все души поставят и будь здоров Иван Петров...

Ромке тоже жалко было патронов: он бегал вокруг деда, пытаясь тому что-то объяснить своим нечленораздельным мычанием. Однако ни дед, ни бородач, ни, тем более, расстроенные Вадим с Гришкой не обращали на него никакого внимания. Единственный, кто в этот момент проявил к нему любопытство — был огромный слепень, норотивший усесться ему на шею и вволю попить свежей крови.

Из хаты выбежала Сталина, обутая в обрезанные в голенищах немецкие сапоги.

— Пап! — позвала она Карданова, — вы забыли взять с собой воды. — Подошла и сзади, в мешок с инструментами, засунула литровую бутылку.

— Да воды в лесу — залейся, — недовольно буркнул Александр Федорович и взвалил на спину мешок со скобами. Другой рукой подхватил пилу, обмотанную мешковиной и перевязанную тонкой бечевкой.

Глава вторая

Дед Александр, Карданов, Гришка с Вадимом и прилепившийся к ним Ромка отправились в путь. В мыслях Александр Федорович уже все рассчитал: они напилят бревен и сложат из них избу, куда рано или поздно всем горюшинцам придется перебираться. Фронт, по слухам, где-то набирает силу и вроде бы близок к попятной. А если война двинется назад, думал дед Александр, то не сдобровать его хутору, слизнет его язык войны, а вместе с ним и людей...

Кругом пахло травами, то и дело сгибались к земле и срывали прямо в рот теплые ягоды. Скоро должны пойти малина с черникой, и тогда у Ромки будет черный рот и сытые глаза.

К пению и щебетанию птиц примешивался басок Луки:

— Скажи, Федорович, почему тебя некоторые люди зовут Кереном? Странно даже — Керен...

— Делать им больше нечего, — не сразу ответил дед.

— Ну, а все же?

— По Керенскому... У нас с им имя и отчество одинаковы. Он Александр, и я — Александр. Он Федорович, и я сын Федора...

Карданов при ходьбе время от времени отводил от лица встречные ветки ольшаника.

— А во-вторых, — продолжал дед, — я единоличник, а, по ихнему лодырному делу, значит кулак. А раз кулак, да ишо Александр Федорович — вот тебе и Керен...

— А ты кулак или не кулак? Кем ты сам, Федорович, себя считаешь? — Карданов говорил ровно, шел быстро, словно и не было на его лопатках полуторапудового мешка.

Дед же от жары и ходьбы запарился. Щеку прочертила крупная капля пота, и говорил он с заметной одышкой.

— А ты суди сам, Алексеич... Умники погнали всех на поселок, в колхоз. Началось коллективное дело... У меня же своя кобылка, своя коровенка, своя веялка, культиватор. Значит, все это отдай дяде? Приезжает из волости уполномоченный,

лысый такой хмырь, и начинает кулаком об стол бить... На горло берет: или мне тут же скребстись в колхоз, или он меня пустит по миру. Если бы по-хорошему, может, я и подумал бы ишо... А так мне деваться некуда: хоть заяц, а все равно хорек... Не-е-е, тогда и разговора об отсрочке не было — или туды, или... А представь себе... — дед остановился, сбросил на землю мешок и перевел дух. — Представь себе, Алексеич, тогда я сам работал, Людмила вгибывала за два мужика, сыны Колька с Петькой тоже не сидели сложа руки. Работали, ясное дело, с надрывом, но при этом никого со стороны не нанимали. Уксплотации, выходит, никакой не было. Пахали, сеяли сами, жали и косили тоже сами. А в колхозе в то время разор был, голодуха, а у меня орава...

— Так и не влился в колхоз?

— Не пошел, — дед смахнул с виска пот. — Хату, пуньку, хлев — все разрыли и насильно перевезли на поселок. Думали, и я следом погребусь. А мне уже шлея под хвост попала — хоть убей, хоть что хошь делай, а я уже согласия дать не могу. Да и тые, что приглашали, тоже на попятную не пошли. Одним словом, объявили меня кулаком и замуровали куда надо. И это не смотря на то, что уже прошел слухок о перегибах...

— Значит, ты, Федорович, чуть ли не предатель родины? — уже подтрунивая над дедом,

спросил Карданов. Ему надоело стоять с мешком на спине и он тоже сбросил его на землю.

— Ромашка! — крикнул Александр Федорович. — В малинник — ни шагу! Гад может ужалить... А это, Лексеич, с какого хомолка смотреть. С точки зрения того лысого хмыря из волости, можа, я и предатель. А вот ежели с точки зрения веялки да сеялки, я потомственный крестьянин. Земледелец. Делатель земли. И Гришка мой такой же, и Тамарка, хоть и полудурок, а и пахать и жать умеет. И хлеб замешивала, и косить научилась. А Петька, мой старшой, лучшие розвальни умел мастерить, Колька спец был по мельницам.

Дед замолчал. Сквозь редкий ельник искал взглядом Романа. Его клетчатая рубашонка и белесая головка мелькали в высокой траве. Втянув поглубже воздух, Керен снова заговорил:

— Слышь, как пахнет смольем? Доброе, видать, лето будет... А ты, Лексеич, какой-то подозрительный мужик. Допрашиваешь меня точь-в-точь, как следователь энкэвэдэ. Зачем тебе знать — кто я да что я? Твое дело в наших краях временное — спрятаться от фронта, перегодить кровомеску, а потом — туды или сюды...

Лука аж с лица сменился. Резко схватился за хоботок мешка, но не поднял его, а как-то нервно подкрутил ближе к ногам. Словно хотел им

защититься. И, тяжело глядя на Александра Федоровича, Карданов сказал:

— Стоп, Керен! А ну-ка повтори, что ты сказал? Это я-то прячусь от фронта?! Я?

— Что ты, Алексеич, так заюшился? А где ты сейчас — рази на фронте?

— Но не прячусь же, черт тебя подери! Тебе, что же, Ольга ничего про меня не рассказывала?

— Как ты к ей в ухажеры набиваешься?

— Ну это, допустим, наше с ней личное дело, — Лука еще больше покраснел, пот ручейками стекал по шее за расстегнутый ворот штопанной-перештопанной рубахи. — Во-первых, мне еще до войны дали освобождение — четверо малых детишек. А во-вторых, фронт от меня никуда не уйдет. Не сегодня-завтра все потечет назад, вот тогда-то я и... — Карданов спешил выговориться. — Мне во что бы то ни стало надо сберечь ребят... Ольга обо всем знает, я ей все, как было, рассказал, — беженец едва справлялся с волнением. Одна рука елозила по груди, другая сжимала и разжимала черную с проседью бороду. — Эшелон разбомбили, тысячи людей руки в ноги, кто куда... Мои, как горох, под откос, а с неба — тра-та-та-та... На бреющем сволочь летит и шерстит, и шерстит.... Дуська, жена моя, Борьку под себя и — лицом в землю. Тут и я поблизости пристроился, и вся моя команда носами в траву

ушла. А что было потом? Вспоминать не охота... Когда я поднялся с земли, хотел снять с головы кепку, чтобы перекреститься — смотрю, в руках остался, один козырек. Веришь ли, Федорович, как ножницами... пулями прострочило. На мне ни одной царапины, а Дуська... — Карданов пересиливал в груди удушье. — Я хотел ей показать кепку, да вижу Сталина с Веркой в плаче заходятся. Не пойму с паники, что происходит. А когда дошло, чуть не обомлел: по всей Дуськиной спине кровавые пузыри вздулись. Наповал... Борька едва ее кровью не захлебнулся...

Дед беспомощно оглянулся по сторонам и, отвлекаясь кашлянув, крикнул в сторону ельника:

— Гриха, смотри в оба за Ромкой... Где этот огарыш бегаёт? — Александр Федорович, не глядя на Карданова, взвалил на спину мешок и размашисто зашагал по тропе...

...Ромка гонялся за бабочкой. Навстречу попадались огромные, высотой с него, цветы с розовыми чашками.

Он не заметил, как отдалился от тропинки, выскочил на ослепительно-яркую на солнце поляну, парящую запахами цветов, земляники и незнакомых ему растений.

Вдруг он застыл на месте и в глазах засветился страх: от ноги, извиваясь, уходила узорчатая змейка. Ступни занули от холода, как

будто он стоял не на теплой земле — на льдине. Змейка ползла по сухой порыжевшей хвое, между кустиков земляники, и в ее маленьких глазах-бусинках тоже поблескивал ужас и неразделенное желание побыстрее убраться в валежник.

Ромка заплакал и, чтобы сузить свое пребывание на страшной земле, остался стоять на одной ноге, вторую же, словно утенок, поджал под себя.

Поблизости послышались голоса: Вадим с Грихой бежали в его сторону, однако по мере их приближения страх из Ромки не уходил, а еще туже перетягивал живот.

Гришка сразу разобрался в причине страхов своего племянника и, ведомый его взглядом, направился к куче валежника. Тыркнул в него палкой, ворохнул и увидел замершую в испуге змейку. Придавил ее палкой к земле.

— По копылу ее, по копылу! — азартно подбадривал его Вадим.

Ромка, затаив дыхание, наблюдал за расправой над змейкой и незаметно для себя опустил вторую ногу. Но ему все равно казалось, что змеи притаились и наблюдают за ним из-за каждой травинки, из-за каждого кустика.

Его бесцеремонно стронули с места: это Вадим отвесил ему шлепок.

— Вперед, Волчонок! — крикнул беженец и устремился к тропинке. За ним, размахивая пустым рукавом, побежал Гриха.

Внимательно следя, куда ступают ноги мальчишек, тем же путем сиганул за ними Ромка.

На место пришли за полдень. Высокие ели да сосны зашторили небо, кругом стоял теплый ароматный сумрак с редкими прострелами голубого света. Неподалеку, облизывая хвойные бережки, корневища деревьев, белые песчаные проплешины, тек ручей. Он брал свое начало у Андреевских ключей, серебристо бежал километра полтора на север, чтобы окольцевать Лисьи ямы.

Карданов, сбросив со спины мешок, осмотрелся. Его поразила обособленность, какая-то первобытная заброшенность места.

— Во, гляди! — воскликнул Вадим, указывая рукой куда-то вверх.

На самой макушке старой ели, между двух расходящихся ветвей, пристроилось воронье гнездо.

Разметили поляну. Непростое, оказывается, дело в такой чащобе обронить на землю спиленное дерево. Сосны селями приняли круговую оборону и не было в ней ни малейшего просвета.

Раздался звенящий стук топора — это беженец, по подсказке Александра Федоровича, начал делать надруб на комле лесины.

Ромке надоело стоять без дела, и он, озираясь по сторонам — не извивается ли где поблизости глянцеви́тая пестрота, — уселся на бугорок и стал наблюдать за взрослыми. Он слушал, как вжикает пила, и с интересом ждал, когда, наконец, начнет падать дерево. Комары и мошки постепенно освоили его щеки, шею, голые ноги и уже без стыда и совести начали пить из него кровь. Волчонок сорвал ветку папоротника и без усталости сражался с крылатыми кровопийцами.

Вадим, словно, матрос пиратского брига, по сучьям-реям устремился на верх ели, чтобы разорить воронье гнездо. Внизу звенел голос Грихи: «Не туды, не туды — забирай правой...» Но Вадим уже и сам видел то, что искал и до чего осталось подать рукой. И он уже протянул руку, чтобы залезть в корзину гнезда, как вдруг откуда ни возьмись появились две вороны. Они с жестяными криками ринулись на захватчика и вскоре на их белиберду со всех сторон стали слетаться другие птицы. Вадим растерялся, не зная, что предпринять. Снизу кричал Лука:

— Сигай, Вадик, вниз! Сигай, говорю, — при этом Карданов засунул два пальца в рот и пронзительно засвистел.

Дед, не обращая внимания на поднявшийся переполох, продолжал в одиночку пилить дерево. Ромке вся эта сцена показалась и забавной, и

страшной. Спрятавшись за ствол дерева, он наблюдал оттуда за сражением беженца с воронами. Он хотел что-то крикнуть, но все согласные звуки, процеживаясь сквозь волчью пасть, улетали в небытие, родив лишь нечленораздельное мычание. Он мучился и чувствовал себя за прозрачной стеной, отгородившей его от остального мира.

Дед бросил пилить, с крехом разогнулся и тоже стал смотреть на ошалевших ворон.

— Тот, кто зорит чужие гнезда, человеком никогда не будет. — И обращаясь к Луке: — Ты, Алексеич, скажи своему мальцу, чтобы он эту моду бросил... Счас повалим сосенку, пусть с Грихой обрубают сучья...

Вороны еще долго кружились над лесом, базарили, азатем враз замолкли и в один момент улетели.

Удары топоров по дереву сопровождались монотонными звуками пилы — вжик, вжик, вжик, вжик...

Ромка, устав бороться с все прибывающими полчищами комаров, сидел на свежем пеньке и без особого интереса наблюдал за снующими у ног муравьями, строящими себе жилье. Волчонку хотелось есть и, чтобы хоть, немного утолить голод; он стал срывать близкие лепестки заячьей капусты и отправлять их в рот. Но поживка не очень-то насытила, а лишь разожгла аппетит. Под

ложечкой у Ромки закислолось, отчего во рту забила слюна.

Послonyaвшись возле Грихи с Вадимом, он незаметно для себя изменил курс и приблизился к мешку, где, по его расчетам, должны быть харчи.

Александр Федорович подавал команды:

— Ты бери ее на вздым... На вздым, леший тебя подери! Ноги отдавишь, Алексеич, — покрикивал на Луку дед Александр.

Поднатужившись, он подхватил с земли конец бревна и ловко для своего возраста поднял его до уровня груди. Карданов же потел, надсаживался, а дерево, словно удерживаясь смоляными присосками за что-то невидимое, ни в какую не желало ему подчиняться. И бросив конец лесины на землю, беженец чертыхнулся и дал Александру Федоровичу отмашку рукой — дескать, кончай рвать жилы, выдели передышку.

— Ну и работничек, — просипел дед. — Иди, Лука, к хомолку, а я на твое место встану. Так мы и до ночи не сладим...

— А куда нам, собственно, гнать? День длинный, фронт далеко. Еще сто раз справимся...

— Вчерась повстречал Матвея из партизанского отряда, — Александр Федорович стряхнул с руки красного муравья. — Маленько погутарили... просил у меня соли. Хотел у него выпытать — как там, на фронте? Можа, думаю, им

по радиу дают какую сводку... Ни хрена сам толком не знает, но вроде бы наши заделали немцам какой-то котел. Я, правда, не понял, что это за котел, но с Матвеевых слов выходит так, будто фронт вот-вот пойдет пятами назад. Немцы, говорит, стали злей собак, жгут по ночам хаты, чтоб не было пристанища партизанам.

Вадим бесцеремонно влез в разговор взрослых:

— Пап, а можно мы с Грихой отнесем партизанам немного соли?

— А где ты ее видел, соль-то? Им надо, — Карданов неопределенно указал рукой куда-то на заход солнца, — не щепотку, а пуд-два... Где ж столько набраться?

— Тык надо в город смахать, — выпалил Гришка и почему-то на шаг отступил назад, словно сказал недозволенное.

Ромка понимал, о чем говорят взрослые, и ощутил во рту солевое привкусье.

— Утрись, Ромашка, — сказал дед и направился к мешку с едой.

Александр Федорович и Карданов одинаково медлительны. Беженец перед тем, как откусить хлеб, долго перекладывал его из одной руки в другую — не иначе как взвешивал, прикидывал, насколько оный может, да и может ли, заглушить в нем нестихающий голод.

Хоть поели они и не вдоволь, а все же расслабились. Карданова потянуло к прерванному в дороге разговору. Он лежал на спине и бурой хвоинкой щекотал себя по усам. Над макушками деревьев парили легкие облака.

— Так ты, Федорович, говоришь, что советская власть тебя обидела?

Керен и бровью не повел. Он сидел на земле, прислонившись к толстому пню, и внимательно разглядывал свою ладонь. В складках загрубевшей кожи ныла заноза. Он хотел было позвать на помощь Гришку, да раздумал и ногтем указательного пальца стал выковыривать осколыш. И будто не было на земле большей для него заботы, чем выскребать из ладони микроскопическую помеху. В глазах, однако, уже растанцовывалось раздражение — слова беженца задели деда за живое.

— Меня, Алексеич, обидеть может моя старуха или вот, к примеру, ты... Допустим, скажешь, что я у тебя штаны или рубаху спер... Вот в чем была бы обида. А тут другое. Советская власть высосала из меня всю кровь, и теперь я, как лягуха на льду...

Дед наклонился к лаптям и поправил онучи. И Карданов словно впервые увидел его руки — изуродованные, раскатанные вечной работой. Костяшки больших пальцев корявыми загогулинами выпирали на сторону.

— Да надоело об одном и том же лясы точить, — продолжал Александр Федорович. — Ты мне все равно не поможешь, а подбивать к согласию не надо...

Лука помолчал, обдумывая слова Керена, а обдумав, сказал:

— Значит, по-твоему выходит так: все — в колхоз, а тебе одному — воля вольная? Исключение сделать из правила? А зачем же тогда мы делали революцию? Кто я, например, до нее был? Находился в услужении у своей тетки. Мать рано померла, отца...

— Небось, к стенке поставили?

— Нет, отец в империалистическую погиб. — Карданов вертухнулся со спины на бок и подперся локтем. — Тетка, стерва, понукала мной, как могла...

Александр Федорович, справившись наконец с занозой, рассеянно поглядывал на своего подельника. У деда брови лохматые, изгибистые, и где-то под ними поблескивают искорки несогласия. Он вроде бы и слушает Карданова, и в то же время, что опять же было заметно по его глазам, думал какую-то далекую свою думу.

— Сколько ж тебе тада было годов? — вяло поинтересовался Александр Федорович. К его плечу плотно прильнул Ромка и настороженным взглядом следил за Кардановым.

— Не то десять, не то одиннадцать... Я этим чего хочу сказать? Лично мне советская власть дала многое: свободу от тёткиной тирании, хорошую работу, твердый заработок и главное — людской почет и уважение.

— Если не секрет, кем же ты служил, Алексеич? Можя, артист...

— Как это — кем? Разве тебе Ольга не говорила? Милиционером... Старшина. Мой пост находился возле самого Аничкова моста. А сразу после революции служил в частях особого назначения... ЧОН, на Брянщине вылавливал всякую шушеру...

— Значит, ты из энкэвэдешников? — дед смотрел куда-то поверх головы беженца, и в черных его глазах натягивалась багровая пелена.

— Выходит, что так, — бойко, вроде бы даже с некоторым вызовом поддакнул Карданов. — Веселая была служба. Не соскучишься, кругом люди, люди... И ты при них не последний человек. Правда, попадались и прохвосты. Как-то один такой подходит ко мне, сам в тубетейке, с фиксой во рту...

— Ну раз ты, Лука, какой-никакой представитель власти, отвечу на твой вопрос: обидела ли меня советская власть? Мы тут с тобой одне, свидетелей нет, а этот, — Александр Федорович указал глазами на сидевшего у плеча

Романа, — не в счет... Скажи, почему, када началась коллективизация, всех под одну гребенку погнали в колхоз?

— Как это почему? — удивился Карданов. — Все стало общим и земля тоже... Ну и труд, разумеется, стал общим. Крестьянскую рабсилу передали земле...

И тут Керен вспылil.

— Не-е-ет, врешь! Шельмуешь, борода! Земля по ленинскому декрету перешла к крестьянам, а не наоборот — не крестьяне к земле. Но именно такую линию тада и загнули... А зачем надо было туда вести насильно, под руки да еще под дулом нагана? Какой же из меня работник, коли в душу мне уперся винтарь? Меня, середняка, со всем моим барахлом погнали на поселок... А за чем? Мне хорошо было и на хуторе. И многим другим, таким, как я, тоже хорошо было без колхоза. Там же всеобщее, а значит — ничье. Плуги с ломатыми лемехами, молотилки без шестерен, кони без упряжи. Словом, ни усов, ни бороды, ни сохи, ни бороны...

От волнения на шее у деда набухли, закутились две жилы, точно два обрезка вожжин.

Он продолжал:

— Я ж...чтоб ты знал, Лука, чистый середняк, и таких в России была тьма. Но кому-то позарез потребовалось слово «середняк» поменять на слово

«кулак». Хотя, правда, и кулаки были... Но была и рвань подзаборная — дали и ей землю, а она репьем заросла... Не-е-е, что ни говори, а колхозы — дело должно быть добровольное. Доб-ро-воль-ное, — повторил Александр Федорович. — А кому-то перец в зад сунули — мол, давай, давай, скорей, скорей сгоняй всех в коммуну...

— Да пойми ты, Федорович, — Карданов приподнялся и сел. Вроде бы беззаботный поначалу тон в его голосе поубавился, — пойми, седая твоя голова, такая революция — дело в истории человечества новое, никто толком не знал всех дорожек, по которым следует идти. То ли влево, то ли вправо — хрен его знает... Вот и пошли прямо...

— Вот тут я с тобой на все сто согласен, — Керен принял рассудительный тон. — Дело действительно по всем статьям новое и не всем ясное... Так именно потому, что оно новое и заковыристое, и надо было посоветоваться с тьмя людьми, которые дело это хорошо знают...

— С кем это, интересно?

— Что касается землицы, тут надо было посоветоваться с крестьянами.

— С этим несознательным элементом?

Дед опять завелся.

— А чей вы в Питере жрали хлеб до революции иапосля, если не этого несознательного элемента?

— Ты меня, Керен, на боженьку не прихватывай, — тряхнул головой беженец. Зло тряхнул. — Советская власть и частная собственность — понятия несовместимые! Мы за справедливость проливали кровь, за нее, родную, валялись в тифозных бараках, а ты о каком-то возврате толкуешь.

— А совместима ли твоя власть с голодом? — вопрошал дед. — Я знаю, совместима... Ишо десять лет назад половина твоих колхозов ела кашу из топорища, а другая половина намыливалась в города, а мы, слава те господи, — Александр Федорович как-то истуканисто перекрестился, — выжили и не побирались. Другим ишо помогали...

У Карданова уже никакого терпежа нет, и он перебивает Керена.

— Что ж, по-твоему, поворачивай оглобли назад? Давай вернем всю землю кулакам-кровопийцам, и пусть они из обрезов режут нам в животы. — Лука судорожным движением рук расстегнул рубаху и открыл грудь. В нижней ее части белел стручковатый шрам. — Любуйся, что они мне заделали на продрозверстке! Хорошо, что пуля не задела печенку, хана была бы...

— А за что оне тебя так? Не за то ли, что ты им что-то давал, а оне брать не хотели? Видь отнимал... Вот если б давал... Я знаю, Ленин на

вас, питерских, в продразверстку сильно рассчитывал. Один такой, как ты, переваживал тогда двести таких, как я... А рази каждый, кто был подключен к продразверстке, родился от честной матки? Человек с ружьем, шныряющий по сусекам, частенько забывал, кто и зачем его в деревню посылал. Вот откуда пошли кулаки — от оправдания беззакония... Ладно, в то время неколь было растить хлеб, надо было бегом делать революцию, а потом — гражданку. Тут бери, что близко положено. Но потом? Когда уже приступили к этой коллективизации, тогда-то зачем было егозить? Рази нельзя было по-умному все сделать?

— Эх, ты какой мудрый, Керен! И на елку хочешь залезть, и задницу не ободрать... Тогда о половине речь не шла — или мы их, или они нас.

Дед спорить устал, на лицо легли сероватые краски. Однако внутри у него все еще мощно полыхал вулкан противоречий и против него он и сам был бессилён. Александр Федорович вновь заговорил внятно и быстро.

— А вот ваш Ленин, на которого вы все молитесь, смикитил по-другому: чтобы спасти советскую власть, завел неп. Потому что видел и знал — у каждого человека своя рубаха ближе к телу. На том он и играл. Я сам по дурости тоже подался было в Питер, наострившись открыть там хомутную мастерскую... Да напоролся на отпетое

жулье. Обчистили меня, как липку... А все потому впросак попал, что захотел не своим делом заниматься. Вернулся в деревню, а тут уже свое фулиганье — уже пошла-поехала коллективизация.

Умолк дед. И Карданов, каким-то боком заинтересованный его словами; тоже помалкивал. Но все же не вытерпел и неопределенным «вот же жестянка» подбил Керена к дальнейшему разговору.

— Нет, надо было обязательно робить добровольный колхоз и добровольное единоличничество, — убежденно сказал Александр Федорович. — Хочешь на поселок — гребись туды, хошь жить на хуторе — сиди себе на хуторе. Моя же единоличная корова давала молока за пять колхозных, а если б я их имел пяток... Оне у меня были бы сыты и спали бы на сухой соломе, а не в навозе купались... А рази я стал бы спорить, если бы мне предложили: дадим, мол, тебе, Петухов, коня, даже двух мерингов, несколько коровенок, пять-шесть десятин земли, но ты нам за это осенью сдашь три телка, столькото литров молока, столько-то мер ржи... Ну, словом, всего, что полагается. И при этом ты, Петухов, не будешь по ночам окашивать в лядах неудобья и бояться, что за это тебя вспоймают и поставят на лбу клеймо — «кулак». Потом, можа, я пригляделся бы к добровольному колхозу и, кто знает, Лексеич, не

надоело бы мне одному надрывать грыжу и не перебежал бы я со временем в это самое твое коллективное хозяйство. Вполне могло такое случиться. А так меня взяли за холку — иди в стадо... А я ж не коза Настя — поводок на шею не накинешь. Я тебе честно скажу: если бы в то голодное время я не был единоличником, моя семья могла бы сильно поредеть. А так мои Колька с Петькой выросли и ноне где-то на фронте немцу салазки загибают. Между прочим, за твою советскую власть воюют...

Карданов снова улегся на спину и снова принялся хвоинкой щекотать себе ус и задумчиво смотреть в небо. Что-то не позволяло ему давить на Керена, но что-то также не позволяло уйти еще от одного вопроса.

— Ну, допустим, тебе разрешили вести эту... фантастическую политику. Допустим. А как бы ты управился со всей работой — ведь не гектар просишь, а пять-шесть десятин, несколько коров, лошадей? Значит, опять же надо поднаем делать, то есть брать со стороны работников или, говоря другими словами, устанавливать те же старорежимные эксплуататорские порядки? За что боролись, на то, выходит, и напоролись? Кто же тебе такое безобразие может позволить?

— У меня же одна Люська за день может сжать гектар ржи. Забываешь? Поднимется

Тамарка, Гриха, хоть и калека, а ловок, как фокусник. Дай бог, отвоюются Петька с Колькой... Это же уже цельный колхоз. Во-вторых, если я буду работать не на цыгана, а на себя, а заодно и на государство, то власть обязана будет подсобить мне. Обеспечить веялкой, культиватором, сенокосилкой, кормом, а по весне и тракторишко выделить... Я же готов за все платить.

— Ну и бред ты несешь, Керен! Я думал, ты степенный мужик, а ты... — Карданов не находил нужных слов. — Да кто тебе, без пяти минут кулаку, даст трактор? Может, тебе еще в придачу и мельницу, и сыроварню? А хухо ты не хохо?

— А что, не помешала бы и мельница.

Александр Федорович, легонько отстранив от плеча осовевшего от разговоров Ромку, поднялся с земли и направился к оставленной в дереве пиле. Поплевал на ладони и изготовился взяться за работу. Но все же не удержался и бросил Карданову:

— А я не знаю, как бы ты со мной разговаривал, будь мы с тобой не тут, в лесу, а где-нибудь в твоём Питере, где власть не моя, а твоя...

— Так бы и разговаривал, как говорю: несознательный ты, Керен, элемент, думаешь только о себе.

— А ты о себе не думаешь?

— Почему же, и я думаю о себе... Но еще и о том, как бы нам с тобой дожить до конца войны, потому что после нее все будет по-другому... Вот увидишь — все!

Дед уже пилил, и на его лапти мелкой крупой падали серебристые, пахучие опилки.

— Можя, будет, а можя, и не будет. Поживем — увидим...

Почти до самых сумерек раздавались в лесу пошептывание пилы и то гулкие, то сбивавшиеся с удара звуки топоров. Теснина деревьев не позволяла далеко разлетаться этим звукам, они гасли, не достигнув верхушек притихших деревьев.

Карданов приноровился к работе и уже без понуканий Александра Федоровича сам оттаскивал к ручью распиленные на части тяжелые бревна. От усталости лицо его как бы обвисло, под глазами появились синие тени. И дед устал, но не так сильно — видно, выручала привычка соизмерять силы.

После того, как была сделана разметка будущего строения и вбиты в нужные места колышки, стали собираться домой.

Ромка, замаявшийся от безделья и немоты, заснул сидя на пирамидке бревен. И как он оттуда во сне не сверзился, можно было только гадать...

На хуторе их встретило неприятное сообщение: приезжал немецкий патруль и грозился

сжечь Горюшино.

Верка без усталости трепала языком:

— Папа, папочка, они примчались на танке, смотри, чуть сарай дулом не разворотили.

С левой стороны крыши хлева действительно торчал клок замшелой соломы. Сестру перебила Сталина:

— Эх, была бы граната, я бы эту крестатую сволочь... — она до хруста сжала пальцы.

Пока дед укладывал на место инструмент, Лука вошел в избу. Ольга сидела у люльки и делала одновременно два дела: качала ногой зыбку и, немного отстраняясь от нее, штопала ромкины штаны. Лицо ее было бледнее обычного, но спокойно.

Еще с середины избы Карданов спросил:

— Что тут у вас стряслось? Верка несет какую-то чепуху. При чем тут хутор?

— А бес их знает. Переводчик пел старую песню: мол, хутор приючает партизан и что в Кременцах они взорвали мост...

— Ну, хорошо — где Кременцы, а где мы? Может, ты, Ольга, чего-то недопоняла?

— А что тут понимать — погрозились, набрали воды, чуть хлев не свалили... Может, так просто, страху нагоняли.

В избу вошел Александр Федорович и с порога перекрестился. Ольга, однако, заметила —

отец не завершил крестное знамение: рука обрывочно, не дойдя до левого плеча, резко опустилась. Он подошел к лавке и уселся на нее. Беженец устало пристроился рядом.

Во дворе уже вовсю кипели детские страсти — шло обсуждение, как они будут встречать фашистских поджигателей.

Карданов извлек из кармана махорочницу — небольшую, двурогающую фляжку, что когда-то служила ружейной масленкой, и складку газетной бумаги. Стал тюкать отбитком напильника по кремню, к которому большим пальцем прижимал трут. Но искры почему-то летели в другую от него сторону и не попадали на ноздреватую мякоть высушенного березового гриба. Так и не прикурив, он с раздражением бросил огниво на подоконник, а самокрутку щелчком послал в зев печки, да промахнулся...

В хате висели паутинки сумерек.

Лука, стараясь сдержать недовольство, сказал: — У нас еще время есть... Если поднатужимся, через неделю сложим сруб, накидаем крышу. Надо только все делать по-быстрому...

Керен разозлился.

— Натуживаться мне больше некуда, и так кила по колено... Тут надо все делать с разумом. Немец, конечно, хитрован, дак и мы с тобой,

Лексеич, не скобелкой шмурыганы, — дед наставительно погрозил кому-то пальцем. — Правильно говоришь: будем класть хату и одновременно отправим гонца в Дубраву — к коменданту. Надо плакаться, жалиться, бить на то, что на хуторе одне старики да крохи. Нищата, голодуха...

Не утерпела тут Ольга, даже зыбку оставила в покое.

— Кому ты это все собираешься сказать, пап? Кому нада твоя жалица? Этот же сисястый боров, комендант, от сивухи уже очумел, собственной тени боится. Очень нуждается он в нас...

Карданов кивнул:

— Во, во! Нам, Федорович, встретить бы их пулеметным кипяточком! Ты не забывай, что я с шестнадцати лет на тачанках с пулеметом в обнимку спал. Пострелял досыта... Думаешь, это даром?

— С ухвата стрелять будешь? — обозлился Александр Федорович. — Или ты и взабыль думаешь, что я на это пойду?

Глава третья

Поздно вечером, когда лесок за хутором плотно потемнел и стал окутываться голубоватой дымкой, Карданов разжег чугунок, и семья начала

готовиться к чаепитию.

Ромка с Тamarкой сидели на заворе и глядели на пустынный большак. С него уже сошли длинные лохматые тени берез, что растут по обеим его сторонам. Под тяжестью росы поникла трава.

Одинок и пустынно было в округе, одинок и пустынно было на душе у Ромки. Он смотрел вверх растущих за большаком деревьев, уходящих в лощину и вдалеке вновь взбирающихся на возвышение. И там, вдалеке, уже стояла густая тень и ничего нельзя было сквозь нее рассмотреть. Но мальчугану казалось, что его глаза все же различают мерцающие огоньки и порой чудится, будто слышит он гудки паровоза. И хотя настоящих паровозов он никогда не видел, но по-своему отчетливо представлял их: эдакие рубленые избушки на колесах, скользящие по ниткам-рельсам. О поездах и паровозах ему рассказывал дед, который за свою жизнь четырежды ездил по железной дороге. Дважды в Питер во времена нэпа и дважды — «туда-обратно» — не по своей воле..

В частые минуты одиночества Ромка вслушивался в тишину и, вытянув из ворота тонкую шею, ловил ухом далекое, манящее ту-ту-уу.

Тамарка, закинув голову, смотрела во все глаза на звездное небо. В такие минуты глаза ее наполнялись сладкими слезами, в которых, как в

зеркале, отражались все близкие и далекие миры Вселенной.

Когда падала звезда, Тамарка напружинивалась и еще теснее прижимала к себе Волчонка: она верила в мамы Олины приметы: когда умирает человек, его звездочка сходит с неба. Но куда она летит? Где находит свое последнее пристанище? И девчушка ждала: обязательно придет такая ночь, когда одна из летящих в ночи искорок приземлится где-нибудь рядом — за березняком ли, или упадет за хатой, где чернеет стена леса.

Обняв племянника за плечи, Тамарка тихонько запела свою печальную песню: «Все васильки, васильки... Много их выросло в поле...» Ромка слушает ее мурлыканье и до слез в глазах старается рассмотреть вдалеке три курчавых, очень величественных вяза. Но нет, не прошибить глазом темноту. А днем деревья видны как на ладони, и Ромка знает — от мамы Оли — что это те самые вязы, под которыми стоит его хата.

...Во всей округе не сыскать столь могучих деревьев.

Но у Дубравы есть еще одна примечательная особенность — деревня распласталась как раз на перекрестке большаков. До войны, по воскресеньям и в престольные праздники, сюда съезжался окрестный люд, дабы показать себя и посмотреть на

других. Раскидывалась под вязами шумная, непестрая ярмарка, на которой похвалялся кто чем мог, задушевно делились наболевшим, а кое-кто, излишне промахнувшись рюмкой, начинал глумливый ор, переходящий временами в жестокую потасовку. А кто был тихого нрава и потакал боженьке, направлялся в местную церквушку, сложенную из ядреного красного кирпича и далеко голубевшую окрещенным трехглавием.

С приходом войны расположение деревеньки стало ее смертным грехом. Когда тень оккупации надвинулась на Дубраву, запахло кругом разором и смертью. Бабку Нину и деда Авдея, родителей Ромкиного отца, убили первыми, поскольку их дом стоял ближе других к дороге. На косогоре, у самого подворья, уже почти безжизненных от страха и немощи, кинули их прикладами на землю, обложили соломой и, увлажнив ее бензином, предали огню.

Когда пули шмурыгали с посвистом воздух, застигнутые кто где, поселяне понакидывали на головы подойники да кадушки, надеясь охраниться от летящих веером пуль. Первый, а может, второй или третий снаряд, мстительно пущенный из головного танка, задержавшегося у взорванного партизанами моста, подчистую снес купола церквушки рассыпав осколочную голубень на добрую сотню метров.

Ромкина хатка стояла на, месте некогда сожженного панского имения, под деревьями-великанами. И с тех пор, как в Дубраву вошло и въехало чужое воинство, она стала проезжим двором, где всегда грохотало, кричало, дымило, где всегда было страшно и неприятно.

В одну из осенних ночей за ними приехал дед Александр и кружным путем увез Ольгу с Ромкой к себе в Горюшино...

...Когда небо из жемчужно-бирюзового тона стало переходить в булатно-синий, Тамарка, насытившись красотой звездной изморози, растормошила племянника и повела его в дом. По пути к ним пристала Верка: «Ромик, пойдем, я тебе ножки помою». Волчонку эта городская привычка категорически не нравилась, ему хотелось пить и спать. Зацепившись за теткин подол, он увильнул от гигиенической процедуры.

В избе было жарко и смрадно — по стенам горели смолянки. Они были вставлены в лучинодержатели, смастеренные дедом, сильно чадили, отчего извилистые сажевые струйки тянулись к потолку, оставляя на нем черные дегтевые подтеки.

В желудке у Ромки (оттого, наверное, что днем он напихал в себя всякой всячины) жгло и резало и потому сохло во рту. Он обогнул стол, подошел к небольшому фарфоровому чайнику и,

привстав на цыпочки, приткнулся губами к его вздернутому носику. В чайнике чаще всего была холодная вода, и потому он без опаски вознамерился утолить жажду. В первые мгновения жар не отличить от холода, но со вторым глотком Волчонок почувствовал, как у него перехватило дыхание, язык и небо обварились килятком. Видно, мама Оля только что сгношила свежий чай.

От боли у него потемнело в глазах, на веках закипели слезы. Ромка всасывал в себя воздух, но он не облегчал, а только еще больше обжигал обваренный рот. Хотел было заплакать, но не нашел лица, обращенного на его горе. Мама Оля во дворе поила козу, баба Люся в другой комнате разглаживала каталкой сотканное полотно, городские мыли на мочиле ноги, бородач возился у чугушки, а дед... Дед в это время занимался самым ответственным делом: с величайшей осторожностью делил на части спички, сохранившиеся еще из довоенных запасов.

Не найдя сочувствующих глаз, Ромка похныкал, утерся кулачишком и, не придумав ничего лучшего, подсел к деду. Рот у него горел так сильно, как, наверное, не горел после перца. Везло Ромке на такого рода приключения. Это было еще в Дубраве. Как-то оставшись дома один, он взобрался на лавку и стал у окна караулить, когда появится на дорожке мама Оля. Он весь истерзался, одному в

хате было одиноко и томительно грустно. На подоконнике, в горшочке, рос старый перец с одним жирным, словно карась, стручком. И решил его Ромка попробовать на зуб — уж больно заманчивым показался ему этот запретный плод. Ох и пометался же он тогда в величайшем мучении! Спасался как мог: пил воду — не помогло, выскочил во двор и схватил в рот пук травы, пожевал — все равно рот горит. И только вечером, когда мама Оля подоила козу и дала ему попить молочка, боль поутихла и как будто вместе с молоком, слилась в живот и там заснула...

...К деду подошел Карданов и глыбой навис над ним.

— А как ты, Федорович, головку с серой думаешь сохранить? Ведь сера враз рассыпется.

Дед, не поднимая головы, стал объяснять:

— Ты же, Алексеич, токо не забывай, где я за свою жизнь обкатывался и что я видал. Научен жизнью по горло.

— Ну а все же? — беженец подсел к Александру Федоровичу.

Ромка, измучившись жжением, во рту, спрыснул с лавки и побежал пить холодную воду. Напившись, вернулся за стол. В груди немного полегчало, и уже не так пекло язык и дырявое небо.

— Перед тем как щепать спичину, я ее хорошенько высушил. Этот коробок лежал на

каптуре еще со дня Аннушки-гречушницы, — объяснял дед.

Карданов взял в руки спичку и стал изучать ее.

— А зачем, непонятно, тебе этим делом заниматься, если все равно не пользуешься?

— Как это зачем?! — тень на стене шевельнулась и изменила положение. — На обмен! Счас в коробке 32 спички, будет 64, а в городе за каждую спичину дают десять грамм соли. Вот пошлю Ольгу, пусть там барышничает.

— Как это пошлешь, в городе немцы...

— А где их счас нет? Они везде, как блицы. Упрямство деда злило Карданова.

— Что с солью жевать будешь? Мякину, что ли?

А дед и не думал замечать колкости беженца, он ему терпеливо перспективу стал рисовать.

— Скоро бульба поспеет, козу пустим на мясо, да что бог ни даст... А там грибы, журавина... Вон у тебя какая орава — харчи нужны? Нужны! А выжить надо и твоим, и моим. Кочаны на грядках схватятся, нежинские, поди, проклюнутся. Без соли ноне хана, кровь из рота пойдет...

Ромка слушал, что говорят взрослые, но (как иноземец), понимал их лишь наполовину. Правда, про соль ему было все ясно — иную крупинку,

бывало, возьмет за щеку и ходит с ней, пока та не растает. Она ему слаще сахара, которого его губа, правда, еще и не пробовала.

Сели ужинать. Ромке, хотевшему недавно нестерпимо есть, теперь, после «чаепития», больно было пошевелить языком. С него сползла шкурка, а потому вкуса ни от картошки, ни от перышек лука он не чувствовал. Но терпел боль и ел, ибо знал — другой еды не будет, а впереди ночь.

Вадим с Грихой, уработанные топорами, сидели за ужином смирно, поглощая с невероятной быстротой пайку. У Сталины, видно, от кислицы разболелся живот, и она, по совету мамы Оли, полезла греть его на печь. Воспользовавшись этим, Вадим положил глаз на ее порцию.

— Сталь, а Сталь, — пристал он к сестре, — у тебя ж другого брата Вадима нет...

— Отстань, — со стоном отозвалась Сталина.

После ужина дед, по обыкновению, начал Ромке делать массаж. В лагере его соседом по нарам оказался худой чернявый человек, с большими теплыми руками. На свободе он работал массажистом, обслуживал «весьма важных птиц», одна из которых по причинам, от массажиста не зависящим, но именно после сеанса, отдала богу душу. Ночью худого чернявого человека подняли с постели и кое-куда увезли. Оттуда, под невыносимо оскорбительные окрики и тоскливую музыку в его

душе, препроводили в места, где к тому времени уже обживал нары «кулак» Керен.

Когда они возвращались в барак, после работы на лесопильной фабрике, Ефим Григорьевич — именно так представился массажист — чтобы отвлечься от докучливых дум о доме, укладывал Александра Федоровича на нары, теплил потиранием ладони и приступал к священнодействию. Эх, до чего же ловки и ласковы были те руки — словно материнские, которые Керен почти забыл, ибо рано остался без матери.

Ефим Григорьевич говорил: «Нет на свете такой болезни, которую нельзя было бы излечить человеческими руками. Нехитрое, кажется, дело, а творит чудеса... Я вот сейчас нажму у вас, Александр Федорович, одно место у плеча, и вы почувствуете легкое жжение в пятках... Только правду говорите — чувствуете что или нет?»

И верно — Александр Федорович ощущал в пятках щекотку и приятное покалывание. Показал Ефим Григорьевич товарищу по несчастью места на теле, в которых спрятаны природой лекарства от всех болезней: костолома, зуда в пояснице, куриной слепоты, грудной жабы... «Вот только нет, Александр Федорович, тут лекарства от навета, несправедливости... Хоть вы-то мне верите, что я не убийца? Моя профессия стара, как этот мир, еще великих императоров Рима в термах массажем да

благовониями услаждали... Это же самое безвредное на земле лекарство и самое приятное для тела».

— От чего же тогда помер тот хмырь? — поинтересовался Александр Федорович.

— А бог его знает! Люди обычно умирают от того, что кончился их срок пребывания на этом свете. Но чаще всего гибнут от нервотрепки — хуже ножа подрезает поджилки...

И сам Ефим Григорьевич, не дождавшись из дому весточки, в одну ноябрьскую полночь как спал, так и помер. Перед самым концом что-то говорил, но Александр Федорович его прощальные слова принял за сонное бормотанье...

Дед массажировал Ромку да все приговаривал: «Я у тебя, Волчонок, всю твою хворобу выгоню... Ты у меня скоро не то что заговоришь, а скворчиком петь будешь... Я не я буду, запоешь...»

Когда растирание закончилось, дед перекрестил Ромку со спины, чего-то пошептал и, поднявшись с колен, пошел сам молиться.

Карданов немецким тесаком щепал у порога лучину. Баба Люся кряхтя полезла на печку, где все еще лежала Сталина. Верка с Тамаркой с подстилками собирались идти спать на сеновал. Вадим с Гришкой загоняли с улицы в хату трех курочек-пеструшек во главе с маленьким нахальным петушком. Куры летали по сеням и ни в

какую не желали отправляться в свое ночное убежище — под печку.

После массажа Ромка забыл о своих недавних горестях, его тельце налилось теплом и бодростью. Он натянул на себя рубаху, кое-как заправил ее в штаны и, косолапя, помчался за девчонками на сеновал. По пути он напугал петушка, и тот, хлопая крыльями, как сумасшедший заметался по темным углам сеней. Вадим хотел Ромке дать шлепка, но тот увернулся и выскочил на улицу.

Овечья травка уже поблескивала росой. Ромка поднял к небу лицо, и перед ним открылась потрясающей величественности звездная ширь. А в самом ее центре — огромный и чистый плавал лунный шар. В его перламутровом свете отчетливо белел большак, за ним поблескивало болотце с кутившимся над ним туманом. На какое-то мгновение ребенок остался один на один с ночью и, по-видимому, осознавая свою затерянность и второстепенность в огромном мире, его сердечко екнуло, затосковало.

— Ромашка! — позвала его из пуни Тамарка.

— Рома, иди, сказку расскажу, — вторила ей Верка. И Волчонок, придерживая спадающую с плеча лямку, пробежал через двор на сеновал. Невидимый, он начал взбираться к притаившимся где-то высоко, под самой крышей, девчонкам. Они замерли, прислушиваясь, как Ромка, пыхтя и сопя,

преодолевают сеновал.

Вскоре к ним присоединились Гришка с Вадимом, и такой в пуньке начался гвалт и визг, что находящаяся рядом, в хлеву, коза не выдержала и жалобно заблеяла.

Долго не спали дети, по очереди рассказывая страшные истории. Особенно Ромку напугали фантазии Верки: «...И вдруг я услышала какие-то посторонние звуки: тук, тук, тук... Словно с высоты падают капли воды».

На сеновале воцарилась абсолютная тишина. Ромка, лежавший между Веркой и Тamarкой, помимо своей воли стал вдавливаясь в сено. Верка, между тем, продолжала: «Тук, тук, тук... Я прислушалась, откуда исходит этот звук, и поняла: он исходит из большого, очень красивого шкафа. Я поднялась со стула и на цыпочках подошла к шкафу. И еще отчетливее услышала это тук, тук, тук. И вот я не выдержала неизвестности и тихонечко приоткрыла дверцу... И что я в шкафу увидела...»

Голос у Верки тут срезался и, казалось, что она вот-вот разревется. «И что я там увидела? — повторила она. — Большую белую ванну, полную... крови... Я подняла глаза, а над ванной...»

Ромка, прикусив свою заячью губу, и со страхом, пронизывающим все его тельце,

вслушивался в каждое слово Верки. Ничего подобного он в своей жизни не слышал. Его охватил ужас, но, несмотря на это, он хотел, чтобы рассказ продолжался. Он даже шевельнул ногой, как бы давая понять, что все живы-здоровы и надо говорить дальше. Верка положила теплую ладонь на Ромкину голову, прижала ее к себе.

Вадим тоже примолк, вплотную придвинувшись к лежащему на краю сеновала Грихе.

«...А над ванной, вы можете мне не верить, вниз головами висят девочка и мальчик. Тук, тук, тук... И слышу, девочка говорит: «Здесь делают из детей пончики и продают на рынке. Скорей уходи отсюда, девочка, и расскажи моей маме, чтобы она никогда не покупала на рынке пончики с мясом...»

— Вер, а Вер! — раздался голос Вадима.

— Ну, чего тебе? — расстроенная перебивкой, спросила Верка.

— Когда перестанешь?

— Чего — когда? — недоумевала Верка.

— Когда перестанешь деревенщину пугать?

— Ай, да иди ты! — огрызнулась Верка и со вздохом перевернулась со спины на бок.

Никто больше не проронил ни слова.

В груди у Ромки льдинкой таяло сердце. Понемногу он успокоился и стал радоваться уютности сеновала и яркой, проглядывающей

сквозь стропила, маленькой звездочке. Незаметно она смещалась вбок, и, когда совсем скрылась из виду, Ромка стал погружаться в мягкий летучий сон.

К середине ночи ему приснилась жуть: как, будто идет он один по лесу, а кругом огромные, высотой с вязы, папоротники и за их узорчатыми метелками кто-то прячется. То локоть чей-то выглянет, то плечо, то часть лохматой головы. Безглазая, безногая, безротая голова, старающаяся во что бы то ни стало попасться ему на глаза. Он прячется, притаивается, хотя знает, что его все равно видят и никуда ему от кого-то или от чего-то не спрятаться. Нестерпимо страшно. Он хочет закричать, позвать на помощь, но голос глохнет, и рот, залитый слюной, делает беззвучные движения...

Во сне Волчонок вскрикнул, и Тамарка, чуткая к малейшему движению и звуку, на ощупь нашла его лицо и тихонько погладила по щеке. Она успела подумать, что и ей может присниться страшный сон, и про себя ругнула Верку за ее рассказы. Мерное ромкино сопенье вскоре и ее повергло в дремоту. На смену дремоте пришел крепкий летний сон.

Над хутором висела тишина и звездно-лунное небо. Дед уже видел десятый сон — он спал в сенях на им же самым сколоченной канапке, баба Люся со

Сталиной — кормили клопов на печи.

Не спали только Карданов с мамой Олей. Они сидели на заворе, лицом к большаку, и вели негромкий разговор. На их плечах был дедов кафтан, грубое суконное одеяние, однако хорошо сберегающее тепло, а сами они сидели на его, кафтана, длинных полах.

Откуда-то время от времени появлялись летучие мыши, косо, рывками скользили между, домом, и пунькой — и это было все, что нарушало полночный покой. Нет, пожалуй, не все: через дорогу, в болотце, никак не могли угомониться лягушки.

— Не исключено, Ольга, что очень даже скоро фронт будет здесь и тогда мы поцелуемся с тобой на прощанье и останетесь вы тут без меня...

— Да где этот фронт, Лука? — тихо не то спросила, не то усомнилась женщина. — Всякое люди говорят: не то он уже где-то возле Великих Лук, не то еще под Москвой... Пойду в Дубраву, может, что там разузнаю.

— Ну да, много ты там разузнаешь. Смотри, чтоб тебя там не разузнали...

— А что меня разузнавать — я баба. С меня спрос маленький, видеть не видела, слышать не слышала...

Карданов изготовился закуривать. Расставив пошире согнутые в коленях ноги, стал на кафтане

раскладывать бумагу, табакерку, банку с кресалом. Покой и тишина определяли каждое его движение.

Долго сворачивал самокрутку, долго высекал огонь, долго раздувал трут, чтобы от него всласть начать прикуривать. Несколько искр-светляков улетело вбок, в тень избы, чтобы там осесть на росу и погаснуть. И что-то он обдумывал, складывал мысленно в слова — никогда Карданов не спешил, не подгонял время.

Когда глубоко затянулся дымком, сказал:

— А не ходила бы ты совсем в гарнизон, мало ли что может случиться.

— Может, конечно, всякое случиться, но батька по-своему тоже прав — надо все хорошенько разузнать, а мне это свободней сделать. Как-никак деревня своя, люди свои, да и на хату хоть одним глазком охота взглянуть...

— Слушаешься, значит, Керена. Вот тоже странный тип — тюрьму предпочел колхозу. Я, лично, этого никак не могу взять в голову. Хоть убей, не понимаю таких вывертов!

Ольга глянула на луну, и Карданов на лице женщины рассмотрел смятение.

— А чего тут не понять? Батька каждую вещь в доме сделал своими руками. И хату сложил, и хлев, и ткацкий стан сумел. Он же мастеровой человек. А в колхозе надо смотреть в чужие руки и в чужой рот. Пахать ли, сеять ли — не ему решать,

а за него уже порешили там, в сельсовете, в районе. А батька мужик самостоятельный и никакого понуканья не терпит.

— Оль, — тихо до вкрадчивости спросил Карданов, — а если уйду на фронт, скажи, только честно, ты за моими гавриками приглядишь?

— До фронта еще дожить надо...

— Нет, ты не думай ничего плохого... Война кончится, пойдем запишемся. Я хочу по закону быть твоим мужем.

— Захотел один такой, — засмеялась Ольга и поправила на плече Луки кафтан.

Они не видели, как по-над большаком, по росистой гривке продвигались две фигуры. Они шли в сторону хутора, затаенно зажав в рукавах самокрутки, и вполголоса переговаривались.

Карданов узнал о «гостях» по звуку, какой издают хотя и крадущиеся, но тяжелые шаги человека, проделавшего неблизкий путь. Этот человек вышел из-за угла хаты и, озираясь, подошел к окну. Прислушался. Из-за пуни появился напарник, и, так же по-волчьи оглядываясь и прислушиваясь, направился к избе. А тот — первый — уже стоял у дверей, положив руку на «язык» клямки. Последовал напористый, но не шумный тычок, а затем резкий стук.

Луна на время ушла в одиноко плывущее по небу облако. Карданов попытался было подняться

на ноги но Ольга движением руки осекла его. «Сиди и не рыпайся, — шепнула она, — поглядим, кто пожаловал».

Стук повторился.

— Кто такие? Зачем пришли? — раздался за дверью голос Александра Федоровича.

— Открывай, Керен, партизаны, — уже не таясь произнес неизвестный.

— Пойдем! — встал с земли Карданов. — Поговорим, раз партизаны. Может, чего новенького узнаем.

— Не ходи, Лука! Не угадаешь ведь, кто тут по ночам может ошиваться. Батька сам знает, что надо делать.

— А мы будем из-за угла подглядывать — так, по-твоему? — раздражение плясало на кончике языка беженца. Переступив кафтан, он решительным шагом направился к хате. Озадаченная, пошла за ним Ольга.

У самой двери в грудь Карданову уперся ствол винтовки. Грубый, надсаженный никотином и самогоном голос приказал: «Стоять!»

Карданов замер. Попытался отговориться: «Зачем шуметь, парень? В доме все уже спят...»

— Кому велено — стоять!

И точно такой же механический, разве что на октаву выше, голос, в сениях, командовал дедом: «Не зажигай свет, курвина!»